

Тренируй глаза - читая!

Русская классика
в формате ЛПЛ



Выпуск I

И.А.Гончаров

Обрыв

Тренируй глаза – читая!

Текст произведения исполнен в формате ЛПЛ (лечебно-профилактическая литература), предназначенном для тренировки аккомодационных мышц с целью профилактики и лечения зрительных аномалий по методике В.С.Мазуркевича.



Методика защищена патентом.

Текст в данной обработке не предназначен для распространения в любом виде (электронном либо печатном) без официального разрешения патентообладателя.

Иван Александрович Гончаров

Обрыв

Часть первая

I

Два господина сидели в небрежно убранной квартире в Петербурге, на одной из больших улиц. Одному было около тридцати пяти, а другому около сорока пяти лет.

Первый был Борис Павлович Райский, второй — Иван Иванович Аянов.

У Бориса Павловича была живая, чрезвычайно подвижная физиономия. С первого взгляда он казался моложе своих лет: большой белый лоб блистал свежестью, глаза менялись, то загорались мыслию, чувством, веселостью, то задумывались мечтательно, и тогда казались молодыми, почти юношескими. Иногда же смотрели они зрело, устало, скучно и обличали возраст своего хозяина. Около глаз собирались даже две-три легкие морщины, эти неизгладимые знаки времени и опыта. Гладкие черные волосы падали на затылок и на уши, а в висках серебрилось несколько белых волос. Щеки, так же как и лоб, около глаз и рта сохранили еще молодые цвета, но у висков и около подбородка цвет был изжелта-смугловатый.

Вообще легко можно было угадать по лицу ту пору жизни, когда совершилась уже борьба молодости со зрелостью, когда человек перешел на вторую половину жизни, когда каждый прожитой опыт, чувство, болезнь оставляют след. Только рот его сохранял, в неуловимой игре тонких губ и в улыбке, молодое, свежее, иногда почти детское выражение.

Райский одет был в домашнее серенькое пальто, сидел с ногами на диване.

Иван Иванович был, напротив, в черном фраке. Белые перчатки и шляпа лежали около него на столе. У него лицо отличалось спокойствием или, скорее, равнодушным ожиданием ко всему, что может около него происходить.

Смышленный взгляд, неглупые губы, смугло-желтоватый цвет лица, красиво подстриженные, с сильной проседью, волосы на голове и бакенбардах, умеренные движения, сдержанная речь и безукоризненный костюм — вот его наружный портрет.

На лице его можно было прочесть покойную уверенность в себе и понимание других, выглядывавшие из глаз. «Пожил человек, знает жизнь и людей», — скажет о нем наблюдатель, и если не отнесет его к разряду особенных, высших натур, то еще менее к разряду натур наивных.

Это был представитель большинства уроженцев универсального Петербурга и вместе то, что называют светским человеком. Он принадлежал Петербургу и свету, и его трудно было бы представить себе где-нибудь в другом городе, кроме Петербурга, и в другой сфере, кроме света, то есть известного высшего слоя петербургского населения; хотя у него есть и служба, и свои дела, но его чаще всего встречаешь в большей части гостиных, утром — с визитами, на обедах, на вечерах: на последних всегда за картами. Он — так себе: ни характер, ни бесхарактерность, ни знание, ни невежество, ни убеждение, ни скептицизм.

Незнание или отсутствие убеждения облечено у него в форму какого-то легкого, поверхностного всеотрицания: он относился ко всему небрежно, ни перед чем искренне не склоняясь, ничему глубоко не веря и ни к чему особенно не пристращаясь. Немного насмешлив, скептичен, равнодушен и ровен в сношениях со всеми, не даря никого постоянной и глубокой дружбой, но и не преследуя никого настойчивой враждой.

Он родился, учился, вырос и дожил до старости в Петербурге, не выезжая далее Лахты и Ораниенбаума с одной, Токсова и Средней Рогатки с другой стороны. От этого в нем отражались, как солнце в капле, весь петербургский мир, вся петербургская практичность, нравы, тон, природа, служба — эта вторая петербургская природа, и более ничего.

На всякую другую жизнь у него не было никакого взгляда, никаких понятий, кроме тех, какие дают свои и иностранные газеты. Петербургские страсти, петербургский взгляд, петербургский годовой обиход пороков и добродетелей, мыслей, дел, политики и даже, пожалуй, поэзии — вот где вращалась жизнь его, и он не порывался из этого круга, находя в нем полное до роскоши удовлетворение своей натуре.

Он равнодушно смотрел сорок лет сряду, как с каждой

весной отплывали за границу битком набитые пароходы, уезжали внутрь России дилижансы, впоследствии вагоны; как двигались толпы людей «с наивным настроением» дышать другим воздухом, освежаться, искать впечатлений и развлечений.

Никогда не чувствовал он подобной потребности, да и в других не признавал ее, а глядел на них, на этих других, покойно, равнодушно, с весьма приличным выражением в лице и взглядом, говорившим: «Пусть-де их себе, а я не поеду».

Он говорил просто, свободно переходя от предмета к предмету, всегда знал обо всем, что делается в мире, в свете и в городе; следил за подробностями войны, если была война, узнавал равнодушно о перемене английского или французского министерства, читал последнюю речь в парламенте и во французской палате депутатов, всегда знал о новой пиесе и о том, кого зарезали ночью на Выборгской стороне. Знал генеалогию, состояние дел и имений и скандалёзную хронику каждого большого дома столицы; знал всякую минуту, что делается в администрации, о переменах, повышениях, наградах, — знал и сплетни городские — словом, знал хорошо свой мир.

Утро уходило у него на мыканье по свету, то есть по гостиным, отчасти на дела и службу, вечер нередко он начинал спектаклем, а кончал всегда картами в Английском клубе или у знакомых, а знакомы ему были все.

В карты играл он без ошибки и имел репутацию приятного игрока, потому что был снисходителен к ошибкам других, никогда не сердился, а глядел на ошибку с таким же приличием, как на отличный ход. Потом он играл и по большой, и по маленькой, и с крупными игроками, и с капризными дамами.

Строевую службу он прошел хорошо, протерши лямку около пятнадцати лет в канцеляриях, в должностях исполнителя чужих проектов. Он тонко угадывал мысль начальника, разделял его взгляд на дело и ловко излагал на бумаге разные проекты. Менялся начальник, а с ним и взгляд, и проект: Аянов работал так же умно и ловко и с новым начальником, над новым проектом — и докладные записки его нравились всем министрам, при которых он служил.

Теперь он состоял при одном из них по особым поручениям. По утрам являлся к нему в кабинет, потом к жене его в гостиную и действительно исполнял некоторые ее поручения, а по вечерам в положенные дни непременно составлял партию, с кем попросят. У него был довольно крупный чин и оклад — и никакого дела.

Если позволено проникать в чужую душу, то в душе Ивана Ивановича не было никакого мрака, никаких тайн, ничего загадочного впереди, и сами макбетовские ведьмы затруднились бы оболъстить его каким-нибудь более блестящим жребием или отнять у него тот, к которому он шествовал так сознательно и достойно. Повыситься из статских в действительные статские, а под конец, за долговременную и полезную службу и «неусыпные

труды», как по службе, так и в картах, — в тайные советники и бросить якорь в порте, в какой-нибудь нетленной комиссии или в комитете, с сохранением окладов, — а там, волнуясь себе человеческий океан, меняйся век, лети в пучину судьба народов, царств, — всё пролетит мимо его, пока апоплексический или другой удар не остановит течение его жизни.

Аянов был женат, овдовел и имел двенадцати лет дочь, воспитывавшуюся на казенный счет в институте, а он, устроив свои делишки, вел покойную и беззаботную жизнь старого холостяка.

Одно только нарушало его спокойствие — это геморрой от сидячей жизни; в перспективе представлялось для него тревожное событие — прервать на время эту жизнь и побывать где-нибудь на водах. Так грозил ему доктор.

— Не пора ли одеваться: четверть пятого! — сказал Аянов.

— Да, пора, — отвечал Райский, очнувшись от задумчивости.

— О чем ты задумался? — спросил Аянов.

— О ком? — поправил Райский. — Да о ней всё... о Софье...

— Опять! Ну! — заметил Аянов.

Райский стал одеваться.

— Ты не скучаешь, что я тебя туда таскаю? — спросил Райский.

— Нимало: разве не всё равно играть что там, что у Ивлевых? Оно, правда, совестно немного обыгрывать старух: Анна Васильевна бьет карты своего партнера сослепа, а Надежда Васильевна вслух говорит, с чего пойдет.

— Не беспокойся, не оберешь по пяти копеек. У обеих старух до шестидесяти тысяч дохода.

— Знаю, и это всё Софье Николаевне достанется?

— Ей: она родная племянница. Да когда еще достанется! Они скупы, переживут ее.

— У отца ведь, кажется, немного...

— Нет, всё спустил.

— Да куда он тратит? В карты почти не играет.

— Как куда? А женщины? А эта беготня, *petits soupers*¹, весь этот *train*²? Зимой в пять тысяч сервиз подарил на вечер Argançe, а она его-то и забыла пригласить к ужину...

¹ интимные ужины (фр.)

² образ жизни (фр.)

— Да, да, слышал. За что? Что он у ней там делает?..

Оба засмеялись.

— От мужа у Софьи Николаевны, кажется, тоже немного осталось?

— Нет, тысяч семь дохода; это ее карманные деньги. А то всё от теток. Но пора! — сказал Райский. — Мне хочется до обеда еще по Невскому пройтись.

Аянов и Райский пошли по улице, кивая, раскланиваясь и пожимая руки направо и налево.

— Долго ты нынче просидишь у Беловодовой?

— Пока не выгонят — как обыкновенно. А что, скучно?

— Нет, я думал, поспею ли я к Ивлевым? Мне скучно не бывает...

— Счастливый человек! — с завистью сказал Райский. — Если б не было на свете скуки! Может ли быть лютее бича?

— Молчи, пожалуйста! — с суеверным страхом остановил его Аянов, — еще накличешь что-нибудь! А у меня один геморрой чего-нибудь да стоит! Доктора только и знают, что вон отсюда шлют: далась им эта сидячая жизнь — все беды в ней видят! Да воздух еще: чего лучше этого воздуха? — Он с удовольствием нюхнул воздух. — Я теперь выбрал добрее эскулапа: тот хочет летом кислым молоком лечить меня: у меня ведь закрытый... ты знаешь? Так ты от скуки ходишь к своей кухне?

— Какой вопрос: разумеется! Разве ты не от скуки садишься за карты? Все от скуки спасаются, как от чумы.

— Какое же ты жалкое лекарство выбрал от скуки — переливать из пустого в порожнее с женщиной: каждый день одно и то же!

— А в картах разве не одно и то же? А вот ты прячешься в них от скуки...

— Ну, нет, не одно и то же: какой-то англичанин вывел комбинацию, что одна и та же сдача карт может повториться лет в тысячу только... А шансы? А характеры игроков, манера каждого, ошибки?.. Не одно и то же! А вот с женщиной биться зиму и весну! Сегодня, завтра... вот этого я не понимаю!

— Ты не понимаешь красоты: что же делать с этим? Другой не понимает музыки, третий живописи: это неразвитость своего рода...

— Да, именно — своего рода. Вон у меня в отделении служил помощником Иван Петрович: тот ни одной чиновнице, ни одной

горничной проходу не дает, то есть красивой, конечно. Всем говорит любезности, подносит конфеты, букеты: он развит, что ли?

— Оставим этот разговор, — сказал Райский, — а то опять оба на стену полезем, чуть не до драки. Я не понимаю твоих карт, и ты вправе назвать меня невеждой. Не суйся же и ты судить и рядить о красоте. Всякий по-своему наслаждается и картиной, и статуей, и живой красотой женщины: твой Иван Петрович так, я иначе, а ты никак, — ну, и при тебе!

— Ты играешь с женщинами, как я вижу, — сказал Аянов.

— Ну, играю, и что же? Ты тоже играешь и обыгрываешь почти всегда, а я всегда проигрываю... Что же тут дурного?

— Да, Софья Николаевна красавица, да еще богатая невеста: женись, и конец всему.

— Да — и конец всему, и начало скуке! — задумчиво повторил Райский. — А я не хочу конца! Успокойся, за меня бы ее и не отдали!

— Тогда, по-моему, и ходить незачем. Ты просто — Дон Жуан!

— Да, Дон Жуан, пустой человек: так, что ли, по-вашему?

— А как же: что ж он, по-твоему?

— Ну так и Байрон, и Гете, и куча живописцев, скульпторов — всё были пустые люди...

— Да ты — Байрон или Гете, что ли?..

Райский с досадой отвернулся от него.

— Донжуанизм — то же в людском роде, что донкихотство: еще глубже; эта потребность еще прирожденнее... — сказал он.

— Коли потребность — так женись... я тебе говорю...

— Ах! — почти с отчаянием произнес Райский. — Ведь жениться можно один, два, три раза: ужели я не могу наслаждаться красотой так, как бы наслаждался красотой в статуе? Дон Жуан наслаждался прежде всего эстетически этой потребностью, но грубо; сын своего века, воспитания, нравов, он увлекался за пределы этого поклонения — вот и всё. Да что толковать с тобой!

— Коли не жениться, так незачем и ходить, — апатично повторил Аянов.

— А знаешь — ты отчасти прав. Прежде всего скажу, что мои увлечения всегда искренни и неумышленны, — это не волокитство — знай однажды навсегда. И когда мой идол хоть одной чертой подходит к идеалу, который фантазия сейчас создает мне из него, — у меня само собою доделается остальное, и тогда возникает идеал счастья, семейного...

— Вот видишь; ну так и женись... — заметил Аянов.

— Погоди, погоди: никогда ни один идеал не доживал до срока свадьбы: бледнел, падал, и я уходил охлажденный... Что фантазия создаст, то анализ разрушит, как карточный домик. Или сам идеал, не дождавшись охлаждения, уходил от меня...

— А все-таки каждый день сидеть с женщиной и болтать!.. — упрямо

твердил Аянов, покачивая головой. — Ну о чем, например, ты будешь говорить хоть сегодня? Чего ты хочешь от нее, если ее за тебя не выдадут?

— И я тебя спрошу: чего ты хочешь от ее теток? Какие карты к тебе придут? Выиграешь ты или проиграешь? Разве ты ходишь с тем туда, чтоб выиграть все шестьдесят тысяч дохода? Ходишь поиграть — и выиграть что-нибудь...

— У меня никаких расчетов нет: я делаю это от... от... для удовольствия.

— От... от скуки — видишь, и я для удовольствия — и тоже без расчетов. А как я наслаждаюсь красотой, ты и твой Иван Петрович этого не поймете, не во гнев тебе и ему, — вот и всё. Ведь есть же одни, которые молятся страстно, а другие не знают этой потребности, и...

— Страстно! Страсти мешают жить. Труд — вот одно лекарство от пустоты: дело! — сказал Аянов внушительно.

Райский остановился, остановил Аянова, ядовито улыбнулся и спросил:

— Какое дело, скажи, пожалуйста: это любопытно!

— Как какое? Служи.

— Разве это дело? Укажи ты мне в службе, за немногими исключениями, дело, без которого бы нельзя было обойтись?

Аянов засвистал от удивления.

— Вот тебе раз! — сказал он и поглядел около себя. — Да вот! — Он указал на полицейского чиновника, который упорно глядел в одну сторону.

— А спроси его, — сказал Райский, — зачем он тут стоит и кого так пристально высматривает и выжидает? Генерала! А нас с тобой и не видит, так что любой прохожий может вытащить у него платок из кармана. Ужели ты считал делом твои бумаги? Не

будем распространяться об этом, а скажу тебе, что я, право, больше делаю, когда мажу свои картины, бренчу на рояле и даже когда поклоняюсь красоте...

— И что особенного, кроме красоты, нашел ты в своей кухне?

— Кроме красоты! Да это всё! Впрочем, я мало знаю ее: это-то, вместе с красотой, и влечет меня к ней...

— Как, каждый день вместе и мало знаешь?..

— Мало. Не знаю, что у нее кроется под этим спокойствием, не знаю ее прошлого и не угадываю будущего. Женщина она или кукла, живет или подделывается под жизнь? И это мучит меня... Вон, смотри, — продолжал Райский, — видишь эту женщину?

— Ту толстую, что лезет с узлом на извозчика?

— Да, и вот эту, что глядит из окна кареты? И вон ту, что заворачивает из-за угла навстречу нам?

— Ну, так что же?

— Ты на их лицах мельком прочтешь какую-нибудь заботу, или тоску, или радость, или мысль, признак воли — ну, словом, движение, жизнь. Немного нужно, чтоб подобрать ключ и сказать, что тут семья и дети, — значит, было прошлое, а там глядит страсть или живой след симпатии, — значит, есть настоящее, а здесь на молодом лице играют надежды, просятся наружу желания и пророчат беспокойное будущее...

— Ну?

— Ну, везде что-то живое, подвижное, требующее жизни и отзывающееся на нее... А там ничего этого нет, ничего, хоть шаром покати! Даже нет апатии, скуки, чтоб можно было сказать: была жизнь и убита — ничего! Сияет и блестит, ничего не просит и ничего не отдает! И я ничего не знаю! А ты удивляешься, что я бьюсь?

— Давно бы сказал мне это, и я удивляться перестал бы, потому что я сам такой, — сказал Аянов, вдруг останавливаясь. — Ходи ко мне вместо нее...

— Ты?

— Да — я!

— Что же ты, красотой блистаешь?..

— Блистаю спокойствием и наслаждаюсь этим; и она тоже... Что тебе за дело?..

— До тебя — никакого, а она — красота, красота!

— Женись, а не хочешь или нельзя, так оставь, займись делом...

— Ты прежде заведи дело, в которое мог бы броситься живой ум, гнушающийся мертвечины, и страстная душа, и укажи, как положить силы во что-нибудь, что стоит борьбы, — а с своими картами, визитами, раутами и службой — убирайся к черту!

— У тебя беспокойная натура, — сказал Аянов, — не было строгой руки и тяжелой школы — вот ты и куролесишь... Помнишь, ты рассказывал, когда твоя Наташа была жива...

Райский вдруг остановился и, с грустью на лице, схватил своего спутника за руку.

— Наташа! — повторил он тихо, — это единственный, тяжелый камень у меня на душе — не мешай память о ней в

эти мои впечатления и мимолетные увлечения...

Он вздохнул, и они молча дошли до Владимирской церкви, свернули в переулок и вошли в подъезд барского дома.

II

Райский с год только перед этим познакомился с Софьей Николаевной Беловодовой, вдовой на двадцать пятом году, после недолгого замужества с Беловодовым, служившим по дипломатической части.

Она была из старинного богатого дома Пахотиных. Матери она лишилась еще до замужества, и батюшка ее, состоявший в полном распоряжении супруги, почувствовав себя на свободе, вдруг спохватился, что молодость его рано захвачена была женитьбой и что он не успел пожить и пожуировать.

Он повел было жизнь холостяка, пересиливал годы и природу, но не пересилил и только смотрел, как ели и пили другие, а у него желудок не варил. Но он уже успел нанести смертельный удар своему состоянию.

У него, взамен наслаждений, которыми он пользоваться не мог, явилось старческое тщеславие иметь вид шалуна, и он стал вознаграждать себя за верность в супружестве сумасбродными связями, на которые быстро ушли все наличные деньги, брильянты жены, наконец, и бо́льшая часть приданого дочери. На недвижимое имение, и без того заложенное им еще до женитьбы, росли значительные долги.

Когда источники иссякли, он изредка, в год раз, иногда два, сделает дорогую шалость, купит брильянты какой-нибудь Armanse, экипаж, сервиз, ездит к ней недели три, провожает в театр, делает ей ужины, сзывает молодежь, а потом опять смолкнет до следующих денег.

Николай Васильевич Пахотин был очень красивый, сановитый старик, с мягкими, почтенными сединами. По виду его примешь за какого-нибудь Пальмерстона.

Особенно красив он был, когда с гордостью вел под руку Софью Николаевну

куда-нибудь на бал, на общественное гулянье. Не знавшие его почтительно сторонились, а знакомые, завидя шалуна, начинали уже улыбаться и потом фамильярно и шутливо трясти его за руку, звали устроить веселый обед, рассказывали на ухо приятную историю...

Старик шутил, рассказывал сам направо и налево анекдоты, говорил каламбуры, особенно любил с сверстниками жить воспоминаниями минувшей молодости и своего времени. Они с восторгом припоминали, как граф Борис или Денис проигрывал кучи золота; терзались тем, что сами тратили так мало, жили так мизерно; поучали внимательную молодежь великому искусству жить.

Но особенно любил Пахотин уноситься воспоминаниями в Париж, когда в четырнадцатом году русские явились великодушными победителями, перещеголявшими любезностью тогдашних французов, уже попорченных в этом отношении революцией, и превосходившими безумным мотовством широкую щедрость англичан.

Старик шутя проживал жизнь, всегда смеялся, рассказывал только веселое, даже на драму в театре смотрел с улыбкой, любясь ножкой или лорнируя la gorge³ актрисы.

Когда же наставало не веселое событие, не обед, не соблазнительная закулисная драма, а затрогивались нервы жизни, слышался в ней громовой раскат, когда около него возникал важный вопрос, требовавший мысли или воли, старик тупо недоумевал, впадал в беспоконное молчание и только учащенно жевал губами.

У него был живой, игривый ум, наблюдательность и некогда смелые порывы в характере. Но шестнадцати лет он поступил в гвардию, выучась отлично говорить, писать и петь по-французски и почти не зная русской грамоты. Ему дали отличную квартиру, лошадей, экипаж и тысяч двадцать дохода.

Никто лучше его не был одет, и теперь еще, в старости, он дает законы вкуса портному; всё на нем сидит отлично, ходит он бодро, благородно, говорит с уверенностью и никогда не выходит из себя. Судит обо всем часто наперекор логике, но владеет софизмом с необыкновенною ловкостью.

С ним можно не согласиться, но сбить его трудно. Свет, опыт, вся жизнь его не дали ему никакого содержания, и оттого он боится серьезного как огня. Но тот же опыт, жизнь

³ грудь (фр.)

всегда в куче людей, множество встреч и способность знакомиться со всеми образовали ему какой-то очень приятный, мелкий умок, и не знающий его с первого раза даже положится на его совет, суждение, и потом уже, жестоко обманувшись, разглядит, что это за человек.

Он не успел еще окунуться в омут опасной, при праздности и деньгах, жизни, как на двадцать пятом году его женили на девушке красивой, старого рода, но холодной, с деспотическим характером, сразу угадавшей слабость мужа и прибравшей его к рукам.

Теперь Николай Васильевич Пахотин заседает в каком-то совете раз в неделю, имеет важный чин, две звезды и томительно ожидает третьей. Это его общественное значение.

Было у него другое ожидание — поехать за границу, то есть в Париж, уже не с оружием в руках, а с золотом, и там пожить, как живали в старину.

Он с наслаждением и завистью припоминал анекдоты времен революции, как один знатный повеса разбил там чашку в магазине и в ответ на упреки купца перебил и переломал еще множество вещей и заплатил за весь магазин; как другой перекупил у короля дачу и подарил танцовщице. Оканчивал он рассказы вздохом сожаления о прошлом.

Вскоре после смерти жены он было попросился туда, но образ его жизни, нравы и его затеи так были известны в обществе, что ему, в ответ на просьбу, коротко отвечено было: «Незачем». Он пожевал губами, похандрил, потом сделал какое-то громадное, дорогое сумасбродство и успокоился. После того, уже промотавшись окончательно, он в Париж не порывался.

Кроме томительного ожидания третьей звезды, у него было еще постоянное дело, постоянное стремление, забота, куда уходили его напряженное внимание, соображения, вся его тактика, с тех пор как он промотался, — это извлекать из обеих своих старших сестер, пожилых девушек, теток Софьи, денежные средства на шалости.

Надежда Васильевна и Анна Васильевна Пахотины, хотя были скупы и не ставили собственно личность своего брата в грош, но дорожили именем, которое он носил, репутацией и важностью дома, преданиями, и потому, сверх определенных ему пяти тысяч карманных денег, в разное время выдавали ему субсидии около такой же суммы, и потом еще, с выговорами, с наставлениями, чуть не с плачем, всегда к концу года платили почти столько же по счетам портных, мебельщиков и других купцов.

Они знали, на какое употребление уходят у него деньги, но на это они смотрели снисходительно, помня нестрогие нравы повес своего времени и находя это в мужчине естественным. Только они, как нравственные женщины, затыкали уши, когда он захочет похвастаться перед ними своими шалостями или когда кто другой вздумает довести до их

сведения о каком-нибудь его сумасбродстве.

Он был в их глазах пустой, никуда негодный, ни на какое дело, ни для совета, старик и плохой отец, но он был Пахотин, а род Пахотиных уходит в древность, портреты предков занимают всю залу, а родословная не укладывается на большом столе, и в роде их было много лиц с громким значением.

Они гордились этим и прощали брату всё за то только, что он Пахотин.

Сами они блистали некогда в свете, и по каким-то, кроме их, всеми забытым причинам, остались девами. Они уединились в родовом доме и там, в семействе женатого брата, доживали старость, окружив строгим вниманием, попечениями и заботами единственную дочь Пахотина Софью. Замужество последней расстроило было их жизнь, но она овдовела, лишилась матери и снова, как в монастырь, поступила под авторитет и опеку теток.

Они были две высокие, седые, чинные старушки, ходившие дома в тяжелых, шелковых темных платьях, больших чепцах, на руках со многими перстнями.

Надежда Васильевна страдала тиком и носила под чепцом бархатную шапочку, на плечах бархатную, подбитую горностаем кацавейку, а Анна Васильевна сырцовые букли и большую шаль.

У обеих было по ридикюлю, а у Надежды Васильевны высокая золотая табакерка, около нее несколько носовых платков и моська, старая, всегда заспанная, хрипящая и от старости не узнающая никого из домашних, кроме своей хозяйки.

Дом у них был старый, длинный, в два этажа, с гербом на фронте, с толстыми, массивными стенами, с глубокими окошками и длинными простенками.

В доме тянулась бесконечная анфилада обитых штофом комнат;

темные, тяжелые резные шкафы с старым фарфором и серебром, как саркофаги, стояли по стенам с тяжелыми же диванами и стульями рококо, богатыми, но жесткими, без комфорта. Швейцар походил на Нептуна; лакеи пожилые и молчаливые, женщины в темных платьях и чепцах. Экипаж высокий, козлы с шелковой бахромой, лошади старые, породистые, с длинными шеями и спинами, с побелевшими от старости губами, при езде крупно кивающие головой.

Комната Софьи смотрела несколько веселее прочих, особенно когда присутствовала в ней сама хозяйка: там были цветы, ноты, множество современных безделок.

Еще бы немного побольше свободы, беспорядка, света и шуму — тогда это был бы свежий, веселый и розовый уют, где бы можно замечтаться, зачитаться, заиграться и, пожалуй, залюбоваться.

Но цветы стояли в тяжелых, старинных вазах, точно надгробных урнах, горка массивного старого серебра придавала еще больше античности комнате. Да и тетки не могли видеть беспорядка: чуть цветы раскинутся в вазе прихотливо, входила Анна Васильевна, звонила девушку в чепце и приказывала собрать их в симметрию.

Если оказывалась книга в богатом переплете лежащая на диване, на стуле, — Надежда Васильевна ставила ее на полку; если западал слишком вольный луч солнца и играл на хрустале, на зеркале, на серебре, — Анна Васильевна находила, что глазам больно, молча указывала человеку пальцем на портьеру, и тяжелая, негнушающаяся шелковая завеса мерно падала с петли и закрывала свет.

Зато внизу, у Николая Васильевича, был полный беспорядок. Старые предания мешались там с следами современного комфорта. Подле тяжелого буля стояла откидная кушетка от Гамбса, высокий, готический камин прикрывался ширмами с картинами фоблазовских нравов, на столах часто утро заставало остатки ужина, на диване можно было найти иногда женскую перчатку, ботинку, в уборной его — целый магазин косметических снадобьев.

Как тихо и молчаливо было наверху, так внизу слышались часто звонкие голоса, смех, всегда было там живо, беспорядочно. Камердинер был у него француз с почтительной речью и наглым взглядом.

III

Много комнат прошли Райский и Аянов, прежде нежели добрались до жилья, то есть до комнат, где сидели обе старухи и Софья Николаевна.

Когда они вошли в гостиную, на них захрипела моська, но не смогла полаять и, повертевшись около себя, опять улеглась.

Анна Васильевна кивнула им, а Надежда Васильевна, в ответ на поклоны, ласково поглядела на них, с удовольствием высморкалась и сейчас же

понюхала табаку, зная, что у ней будет партия.

— *Ma cousine!* — сказал Райский, протянув руку Беловодовой.

Она поклонилась с улыбкой и подала ему руку.

— Позвони, *Sophie*, чтобы кушать давали, — сказала старшая тетка, когда гости уселись около стола.

Софья Николаевна поднялась было с места, но Райский предупредил ее и дернул шнурок.

— Скажи Николаю Васильевичу, что мы садимся обедать, — с холодным достоинством обратилась старуха к человеку. — Да кушать давать! Ты что, Борис, опоздал сегодня: четверть шестого! — упрекнула она Райского.

Он был двоюродным племянником старух и троюродным братом Софьи. Дом его, тоже старый и когда-то богатый, был связан родством с домом Пахотиных. Но познакомился он с своей родней не больше года тому назад.

В этом он виноват был сам. Старухи давно уже, услышав его фамилию, осведомлялись, из тех ли он Райских, которые происходили тогда-то от тех-то и жили там-то?

Он знал об этом, но притаился и пропустил этот вопрос без внимания, не находя ничего занимательного знакомиться с скучным, строгим, богатым домом.

Сам он был не скучен, не строг и не богат. Старину своего рода он не ставил ни во что, даже никогда об этом не помнил и не думал.

Остался он еще в детстве сиротой, на руках равнодушного, холостого опекуна, а тот отдал его сначала на воспитание родственнице, приходившейся двоюродной бабушкой Райскому.

Она была отличнейшая женщина по сердцу, но далее своего уголка ничего знать не хотела, и там в тиши, среди садов и рощ, среди семейных и хозяйственных хлопот маленького размера, провел Райский несколько лет, а чуть подрос, опекун поместил его в гимназию, где окончательно изгладились из памяти мальчика все родовые предания фамилии о прежнем богатстве и родстве с другими старыми домами.

Дальнейшее развитие, занятия и направление еще более отвели Райского от всех преданий старины.

И он не спешил сблизиться с своими петербургскими родными, которые о нем знали тоже по слуху. Но как-то зимой Райский однажды на балу увидел Софью, раза два говорил с нею и потом уже стал искать знакомства с ее домом. Это было всего легче сделать

через отца ее: так Райский и сделал.

Он знал одну хорошенькую актрису и на вечере у нее ловко подделался к старику, потом подарил ему портрет этой актрисы своей работы, напомнил ему о своей фамилии, о старых связях и скоро был представлен старухам и дочери.

Он так обворожил старух, являясь то робким, покорным мудрой старости, то живым, веселым собеседником, что они скоро перешли на «ты» и стали звать его *mon neveu*,⁴ а он стал звать Софью Николаевну кузиной и приобрел степень короткости и некоторые права в доме, каких постороннему не приобрести во сто лет.

Но все-таки он еще был недоволен тем, что мог являться по два раза в день, приносить книги, ноты, приходить обедать запросто. Он привык к обществу новых современных нравов и к непринужденному обхождению с женщинами.

А Софья мало оставалась одна с ним: всегда присутствовала то одна, то другая старуха; редко разговор выходил из пределов текущей жизни или родовых воспоминаний.

А если затрогивались вопросы живые, глубокие, то старухи тоном и сентенциями сейчас клали на всякий разговор свою патентованную печать.

Райский между тем сгорал желанием узнать не Софью Николаевну Беловодову — там нечего было узнавать, кроме того, что она была прекрасная собой, прекрасно воспитанная, хорошего рода и тона женщина — он хотел отыскать в ней просто женщину, наблюсти и определить, что кроется под этой покойной, неподвижной оболочкой красоты, сияющей ровно, одинаково, никогда не бросавшей ни на что быстрого, жаждущего, огненного или, наконец, скучного, утомленного взгляда, никогда не обмолвившейся нетерпеливым, неосторожным или порывистым словом?

Но она в самом деле прекрасна. Нужды нет, что она уже вдова, женщина; но на открытом, будто молочной

⁴ племянником (*фр.*).

белизны белом лбу ее и благородных, несколько крупных чертах лица лежит девическое, почти детское неведение жизни.

Она, кажется, не слыхала, что есть на свете страсти, тревоги, дикая игра событий и чувств, доводящие до проклятий, стирающие это сияние с лица.

Большие серо-голубые глаза полны ровного, немерцающего горения. Но в них теплится будто и чувство; кажется, она не бессердечная женщина.

Но какое это чувство? Какого-то всеобщего благоволения, доброты ко всему на свете, — такое чувство; если только это чувство, каким светятся глаза у людей сытых, беззаботных, всем удовлетворенных и не ведающих горя и нужд.

Волоса у нее были темные, почти черные, и густая коса едва сдерживалась большими булавками на затылке. Плечи и грудь поражали пышностью.

Цвет лица, плеч, рук — был цельный, свежий цвет, блистающий здоровьем, ничем не тронутым — ни болезнью, ни бедами.

Одевалась она просто, если разглядеть подробно всё, что на ней было надето, но казалась всегда великолепно одетой. И материя ее платья как будто была особенная, и ботинки не так сидят на ней, как на других.

Великолепной картиной, видением явилась она Райскому где-то на вечере в первый раз.

В другой вечер он увидел ее далеко, в театре, в третий раз опять на вечере, потом на улице — и всякий раз картина оставалась верна себе, в блеске и красках.

Напрасно он настойчивым взглядом хотел прочесть ее мысль, душу — всё, что крылось под этой оболочкой: кроме глубокого спокойствия он ничего не прочел.

Она казалась ему всё той же картиной или античной статуей музея.

Все находили, что она образец достоинства строгих понятий, *comme il faut*, жалели, что она лишена семейного счастья, и ждали, когда новый гименей наложит на нее цепи.

В семействе тетки и близкие старики и старухи часто при ней гадали ей в том или другом искателе мужа: то посланник являлся чаще других в дом, то недавно отличившийся генерал, а однажды серьезно поговаривали об одном старике, иностранце, потомке королевского, угасшего рода. Она молчит и смотрит беззаботно, как будто дело идет не о ней.

Другие находили это натуральным, даже высоким, *sublime*,⁵ только Райский — бог знает из чего, бился истребить это в ней и хотел видеть другое.

Она на его старания смотрела ласково, с улыбкой. Ни в одной черте никогда не было никакой тревоги, желания, порыва.

Напрасно он, слыша раздирающий вопль на сцене, быстро глядел на нее — что она? Она смотрела на это без томительного, поглотившего всю публику напряжения, без наивного

⁵ возвышенным (*фр.*).

сострадания.

И карикатура на жизнь, комическая сцена, вызвавшая всеобщий продолжительный хохот, вызывала у ней только легкую улыбку и молчаливый, обмененный с бывшей с ней в ложе женщиной, взгляд.

«И она была замужем!» — думал Райский в недоумении.

Он познакомился с ней и потом познакомил с домом ее бывшего своего сослуживца Аянова, чтобы два раза в неделю делать партию теткам, а сам, пользуясь этим скудным средством, сближался сколько возможно с кузиной, урывками вслушивался, вглядывался в нее, не зная зачем, для чего?

IV

Уже сели за стол, когда пришел Николай Васильевич, одетый в коротенький сюртук, с безукоризненно завязанным галстухом, обритый, сияющий белизной жилета, моложавым видом и красивыми, душистыми сединами.

— *Bonjour, bonjour!* — отвечал он, кивая всем. — Я не обедаю с вами, не беспокойтесь, *ne vous derangez pas*,⁶ — говорил он, когда ему предлагали сесть. — Я за городом сегодня.

— Помилуй, *Nicolas*, за городом! — сказала Анна Васильевна. — Ведь там еще не растаяло... Или давно ревматизм не мучил?

Пахотин пожал плечами.

— Что делать! *Ce que femme veut, Dieu le veut!*⁷ Вчера la

⁶ не беспокойтесь (*фр.*).

⁷ Чего хочет женщина — того хочет Бог! (*фр.*).

*petite Nini*⁸ заказала Виктору обед на ферме: «Хочу, говорит, подышать свежим воздухом...» Вот и я хочу!..

— Пожалуйста, пожалуйста! — замахала рукой Надежда Васильевна, — поберегите подробности для этой *petite Nini*.

— Вы напрасно рискуете, — сказал Аянов, — я в теплом пальто озяб.

— Э! *mon cher* Иван Иванович: а если б вы шубу надели, так и не озябли бы!..

— *Partie de plaisir*⁹ за городом — в шубах! — сказал Райский.

— За городом! Ты уже представляешь себе, с понятием «за городом», — и зелень, и ручьи, и пастушков, а может быть, и пастушку... Ты артист! А ты представь себе загородное удовольствие без зелени, без цветов...

— Без тепла, без воды... — перебил Райский.

— И только с воздухом... А воздухом можно дышать и в шубе. Итак, я еду в шубе... Надену, кстати, бархатную ермолку под шляпу, потому что вчера и сегодня чувствую шум в голове: всё слышится, будто колокола звонят; вчера в клубе около меня по-немецки болтают, а мне кажется, грызут грецкие орехи... А всё же поеду. О женщины!

— Это тоже — Дон Жуан? — спросил тихонько Аянов у Райского.

— Да, в своем роде. Повторяю тебе, Дон Жуаны, как Дон Кихоты, разнообразны до бесконечности. У этого погасло артистическое, тонкое чувство поклонения красоте. Он поклоняется грубо, чувственно...

— Ну, брат, какую ты метафизику устроил из красоты!

— Женщины, — продолжал Пахотин, — теперь только и находят развлечение с людьми наших лет. (Он никогда не называл себя стариком.) И как они любезны: например, *Pauline* сказала мне...

— Пожалуйста, пожалуйста! — заговорила с нетерпением Надежда Васильевна. — Уезжайте, если не хотите обедать...

— Ах, *ma sœur!* два слова, — обратился он к старшей сестре и, нагнувшись, тихо, с умоляющим видом что-то говорил ей.

— Опять! — с холодным изумлением перебила Надежда Васильевна. — Нету! — упрямо сказала потом.

— *Quinze cents!*¹⁰ — умолял он.

— Нету, нету, *mon frère:* к Святой неделе вы получили три тысячи, и уж нет... Это ни на что не похоже...

— *Eh bien, mille roubles!*¹¹ Графу отдать: я у него на той неделе занял: совестно в глаза смотреть.

— Нету и нету: а на меня вам не совестно смотреть?

Он отошел от нее и в раздумье пожевал губами.

— Вам сказывали люди, *папа́*, что граф сегодня заезжал к

⁸ крошка Нини (*фр.*).

⁹ Увеселительная прогулка (*фр.*).

¹⁰ — Полторы тысячи! (*фр.*).

¹¹ — Ну, тысячу рублей! (*фр.*).

вам? — спросила Софья, услышав имя графа.

— Да; жаль, что не застал. Я завтра буду у него.

— Он завтра рано уезжает в Царское Село.

— Он сказал?

— Да, он заходил сюда. Он говорит, что ему нужно бы видеть вас, дело какое-то...

Пахотин опять пожевал губами.

— Знаю, знаю, зачем! — вдруг догадался он, — бумаги разбирать — merci, а к Святой опять обошел меня, а Илье дали! *Qu'il aille se promener!*¹² Ты не была в Летнем саду? — спросил он у дочери. — Виноват, я не успел...

— Нет, я завтра поеду с Catherine: она обещала заехать за мной.

Он поцеловал дочь в лоб и уехал. Обед кончился; Аянов и старухи уселись за карты.

— Ну, Иван Иванович, не сердитесь, — сказала Анна Васильевна, — если опять забуду да свою трефовую даму побью. Она мне даже сегодня во сне приснилась. И как это я ее забыла! Кладу девятку на чужого валета, а дама на руках...

— Случается! — сказал любезно Аянов.

Райский и Софья сидели сначала в гостиной, потом перешли в кабинет Софьи.

— Что вы делали сегодня утром? — спросил Райский.

— Ездила в институт, к Лидии.

— А! к кухне. Что она, мила? Скоро выйдет?

— К осени; а на лето мы ее возьмем на дачу. Да, она очень мила, похорошела, только еще смешна... и все они пресмешные...

— А что?

— Окружили меня со всех сторон; от всего приходят в восторг:

¹² Пусть убирается! (фр.).

от кружева, от платья, от серег; даже просили показать ботинки... — Софья улыбнулась.

— Что ж, вы показали?

— Нет. Надо летом отучить Лидию от этих наивностей...

— Зачем же отучить? Наивные девочки, которых все занимает, веселит, и слава Богу, что занимают ботинки, потом займут их деревья и цветы на вашей даче... Вы и там будете мешать им?

— О нет, цветы, деревья — кто ж им будет мешать в этом? Я только помешала им видеть мои ботинки: это не нужно, лишнее.

— Разве можно жить без лишнего, без ненужного?

— Кажется, вы сегодня опять намерены воевать со мной? — заметила она. — Только, пожалуйста, не громко, а то тетушки поймут какое-нибудь слово и захотят знать подробности: скучно повторять.

— Если всё свести на нужное и серьезное, — продолжал Райский, — куда как жизнь будет бедна, скучна! Только что человек выдумал, прибавил к ней — то и красит ее. В отступлениях от порядка, от формы, от ваших скучных правил только и есть отрады...

— Если б *ma tante* услышала вас на этом слове... «отступления от правил»... — заметила Софья.

— Сейчас бы сказала: «пожалуйста, пожалуйста!» — досказал Райский. — А вы что скажете? — спросил он. — Обойдитесь хоть однажды без «*ma tante*»! Или это ваш собственный взгляд на отступления от правил, проведенный только через авторитет *ma tante*?

— Вы, по обыкновению, хотите из желания девочек посмотреть ботинки сделать важное дело, разбранить меня и потом заставить согласиться с вами... да?

— Да, — сказал Райский.

— Что у вас за страсть преследовать мои бедные правила?

— Потому что они не ваши.

— Чьи же?

— Тетушкины, бабушкины, дедушкины, прабабушкины, прадедушкины: вон всех этих полинявших господ и госпож в робронах, манжетах...

Он указал на портреты.

— Вот видите, как много за мои правила, — сказала она шутливо. — А за ваши?..

— Еще больше! — возразил Райский и открыл портьеру у окна. — Посмотрите, все эти идущие, едущие, снующие взад и вперед, все эти живые, не полинявшие люди — все за меня! Идите же к ним, кузина, а не от них назад! Там жизнь... — Он опустил портьеру. — А здесь — кладбище.

— По крайней мере можете ли вы, *cousin*, однажды навсегда сделать *г#233;sum#233;*: какие это *их* правила, — она указала на улицу, — в чем они состоят, и отчего то, чем жило так много людей и так долго, вдруг нужно менять на другое, которым живут...

— В вашем вопросе есть и ответ: «жило», — сказали вы, и — отжило, прибавлю я. А эти, — он указал на улицу, —

живут! Как живут — рассказать этого нельзя, кузина. Это значит рассказать вам жизнь вообще, и современную в особенности. Я вот сколько времени рассказываю вам всячески: в спорах, в примерах, читаю... а всё не расскажу.

— Кто ж виноват, — я?

— Вы, кузина; чего другого, а рассказывать я умею. Но вы непоколебимы, невозмутимы, не выходите из своего укрепления... и я вам низко кланяюсь.

Он низко поклонился ей. Она смотрела на него с улыбкой.

— Будем оба непоколебимы: не выходить из правил, кажется, это всё... — сказала она.

— Не выходить из слепоты — не бог знает какой подвиг!.. Мир идет к счастью, к успеху, к совершенству...

— Но ведь я... совершенство, cousin? Вы мне третьего дня сказали и даже собрались доказать, если б я только захотела слушать...

— Да, вы совершенны, кузина; но ведь Венера Милосская, головки Грёза, женщины Рубенса — еще совершеннее вас. Зато... ваша жизнь, ваши правила... куда как несовершенны!

— Что же надо делать, чтоб понять эту жизнь и ваши мудреные правила? — спросила она покойным голосом, показывавшим, что она не намерена была сделать шагу, чтоб понять их, и говорила только потому, что об этом зашла речь.

— Что делать? — повторил он. — Во-первых, снять эту портьеру с окна, и с жизни тоже, и смотреть на всё открытыми глазами, тогда поймете вы, отчего те старики полиняли и лгут вам, обманывают вас бессовестно из своих позолоченных рамок...

— Cousin! — с улыбкой за резкость выражения вступилась Софья за предков.

— Да, да, — задорно продолжал Райский, — они лгут. Вот посмотрите, этот напудренный старик с стальным взглядом, — говорил он, указывая на портрет, висевший в простенке, — он был, говорят, строг даже к семейству, люди боялись его взгляда... Он так и говорит со стены: «Держи себя достойно», — чего: человека, женщины, что ли? нет, — «достойно рода, фамилии», и если, Боже сохрани, явится человек с вчерашним именем, с добытым собственной головой и руками значением — «не возводи на него глаз, помни, ты носишь имя Пахотиных!...» Ни лишнего взгляда, ни смелой, естественной симпатии... Боже сохрани от «mésalliance»! А сам — кого удостоивал или кого не удостоивал сближения с собой? «Il faut bien placer ses affections!»¹³ — говорит он на своем нечеловеческом наречии, высказывающем нечеловеческие понятия. А на какие affections разбросал сам свою жизнь, здоровье? Положил ли эти affections на эту сухую старушку с востреньким носиком, жену свою?.. — Райский указал на другой женский портрет. — Нет, она смотрит что-то невесело, глаза далеко ушли во впадины: это такая же жертва хорошего тона, рода и приличий... как и вы, бедная, несчастная кузина...

— Cousin, cousin! — с усмешкой останавливала его Софья.

— Да, кузина: вы обмануты, и ваши тетки прожили жизнь в страшном обмане и принесли себя в жертву призраку, мечте, пыльному воспоминанию... Он велел! — говорил он, глядя почти с яростью на портрет, — сам жил обманом, лукавством или силою, мотал, творил ужасы, а другим велел не любить, не наслаждаться!

— Cousin! пойдите в гостиную: я не сумею ничего отвечать на этот прекрасный монолог... Жаль, что он пропадает даром! — чуть-чуть насмешливо заметила она.

— Да, — отвечал он, — предок торжествует. Завещанные им правила крепки. Он любит вас, кузина: спокойствие, безукоризненная чистота и сияние окружают вас, как ореол...

Он вздохнул.

— Всё это лишнее, ненужное, cousin! — сказала она, — ничего этого нет. Предок не любит меня, и ореола нет, а я люблю вас и долго не поеду в драму: я вижу сцену здесь, не трогаясь с места... И знаете, кого вы напоминаете мне? Чацкого...

Он задумался, и сам мысленно глядел на себя и улыбнулся.

— Это правда, я глуп, смешон, — сказал он, подходя к ней и улыбаясь весело и добродушно, — может быть, я тоже с корабля попал на бал... Но и Фамусовы в юбке! — он указал на теток. —

¹³ «Надо соблюдать осторожность в своих привязанностях!» (фр.).

Ужели лет через пять, через десять...

Он не досказал своей мысли, сделал нетерпеливый жест рукой и сел на диван.

— О каком обмане, силе, лукавстве говорите вы? — спросила она. — Ничего этого нет. Никто мне ни в чем не мешает... Чем же виноват предок? Тем, что вы не можете рассказать своих правил? Вы много раз принимались за это, и всё напрасно...

— Да, с вами напрасно, это правда, кузина! Предки ваши...

— И ваши тоже: у вас тоже есть они.

— Предки наши были умные, ловкие люди, — продолжал он, — где нельзя было брать силой и волей, они создали систему, она обратилась в предание — и вы гибнете систематически, по преданию, как индианка, сожигающаяся с трупом мужа...

— Послушайте, m-r Чацкий, — остановила она, — скажите мне, по крайней мере, от чего я гибну? От того, что не понимаю новой жизни, не... не поддаюсь... как вы это называете... развитию? Это ваше любимое слово. Но вы достигли этого развития, да? а я всякий день слышу, что вы скучаете... вы иногда наводите на всех скуку...

— И на вас тоже?

— Нет, не шутя, мне жаль вас...

— Говоря о себе, не ставьте себя наряду со мной, кузина: я урод, я... я... не знаю, что я такое, и никто этого не знает. Я больной, ненормальный человек, и притом я отжил, испортил, исказил... или нет, не понял своей жизни. Но вы цельны, определены, ваша судьба так ясна, и между тем я мучаюсь за вас. Меня терзает, что даром уходит жизнь, как река, текущая в пустыне... А то ли суждено вам природой? Посмотрите на себя...

— Что же мне делать, cousin: я не понимаю? Вы сейчас сказали, что для того, чтобы понять жизнь, нужно, во-первых, снять портьеру с нее. Положим, она снята, и я не слушаюсь предков: я знаю, зачем, куда бегут все эти люди, — она указала на улицу, — что их занимает, тревожит: что же нужно во-вторых?

— Во-вторых, нужно...

Он встал, заглянул в гостиную, подошел тихо к ней и тихо, но внятно сказал:

— Любить!

— Voilà le grand mot!¹⁴ — насмешливо заметила она.

Оба замолчали.

— Вы, кажется, и их упрекали, зачем они не любят? — с улыбкой прибавила она,

¹⁴ — Какое громкое слово! (фр.).

показав головой к гостиной на теток.

Райский махнул с досадой на теток рукой.

— Вы будто лучше теток, кузина? — возразил он. — Только они стары, больны, а вы прекрасны, блистательны, ослепительны...

— Merci, merci, — нетерпеливо перебила она с своей обыкновенной, как будто застывшей улыбкой.

— Что же вы не спросите меня, кузина, что значит любить, как я понимаю любовь?

— Зачем? Мне не нужно это знать.

— Нет, вы не смеее спросить!

— Почему?

— Они услышат. — Райский указал на портреты предков. — Они не велят... — Он указал в гостиную на теток.

— Нет, *он* услышит! — сказала она, указывая на портрет своего мужа во весь рост, стоявший над диваном, в готической золоченой раме.

Она встала, подошла к зеркалу и задумчиво расправляла кружево на шее.

Райский между тем изучал портрет мужа: там видел он серые глаза, острый, небольшой нос, иронически сжатые губы и коротко стриженные волосы, рыжеватые бакенбарды. Потом взглянул на ее роскошную фигуру, полную красоты, и мысленно рисовал того счастливца, который мог бы, по праву сердца, велеть или не велеть этой богине. «Нет, нет, не этот! — думал он, глядя на портрет, — это тоже предок, не успевший еще полинять; не ему, а принципу своему покорна ты...»

— Вы так часто обращаетесь к своему любимому предмету, к любви, а посмотрите, cousin, ведь мы уж стары, пора перестать думать об этом! — говорила она, кокетливо глядя в зеркало.

— Значит, пора перестать жить... Я — положим, а вы, кузина?

— Как же живут другие, почти все?

— Никто! — с уверенностью перебил он.

— Как? По-вашему, князь Пьер, Анна Борисовна, Лев Петрович... все они...

— Живут — или воспоминаниями любви, или любят, да притворяются...

Она засмеялась и стала собирать в симметрию цветы, потом опять подошла к зеркалу.

— Да, любили или любят, конечно, про себя, и не делают из этого никаких историй, — досказала она и пошла было к гостиной.

— Одно слово, кухня! — остановил он ее.

— О любви? — спросила она, останавливаясь.

— Нет, не бойтесь, по крайней мере теперь я не расположен к этому. Я хотел сказать другое.

— Говорите, — мягко сказала она, садясь.

— Я пойду прямо к делу: скажите мне, откуда вы берете это спокойствие, как удается вам сохранять тишину, достоинство, эту свежесть в лице, мягкую уверенность и скромность в каждом мерном движении вашей жизни? Как вы обходитесь без борьбы, без увлечений, без падений и без побед? Что вы делаете для этого?

— Ничего! — с удивлением сказала она. — Зачем вы хотите, чтоб со мной делались какие-то конвульсии?

— Но ведь вы видите других людей около себя, не таких, как вы, а с тревогой на лице, с жалобами...

— Да, вижу и жалею: ma tante, Надежда Васильевна, постоянно жалуется на тик, а папа на приливы...

— А другие, а все? — перебил он, — разве так живут? Спрашивали ли вы себя, отчего они терзаются, плачут, томятся, а вы нет? Отчего другим по три раза в день приходится тошно жить на свете, а вам нет? Отчего они мечтают, любят и ненавидят, а вы нет?..

— Вы про тех говорите, — спросила она, указывая головой на улицу, — кто там бегают, суется? Но вы сами сказали, что я не понимаю их жизни. Да, я не знаю этих людей и не понимаю их жизни. Мне дела нет...

— Дела нет! Ведь это значит дела нет до жизни! — почти закричал Райский, так что одна из теток очнулась на минуту от игры и сказала им громко: «Что вы всё там спорите: не подеритесь!.. И о чем это они?»

— Опять «жизни»: вы только и твердите это слово, как будто я мертвая! Я предвижу, что будет дальше, — сказала она, засмеявшись, так что показались прекрасные зубы. — Сейчас дойдем до правил и потом... до любви.

— Нет, не отжил еще Олимп! — сказал он. — Вы, кухня, просто олимпийская богиня — вот и конец объяснению, — прибавил, как будто с отчаянием, что не удастся ему всколебать это море. — Пойдемте в гостиную!

Он встал. Но она сидела.

— Вы не удостоиваете смертных снизойти до них, взглянуть на их жизнь, живете олимпийским неподвижным блаженством, вкушаете нектар и амброзию — и благо вам!

— Чего же еще: у меня всё есть, и ничего мне не надо...

Она не успела кончить, как Райский вскочил.

— Вы высказали свой приговор сами, кузина, — напал он бурно на нее, — «у меня всё есть, и ничего мне не надо»! А спросили ли вы себя хоть раз о том: сколько есть на свете людей, у которых ничего нет и которым всё надо? Осмотритесь около себя: около вас шелк, бархат, бронза, фарфор. Вы не знаете, как и откуда является готовый обед, у крыльца ждет экипаж и везет вас на бал и в оперу. Десять слуг не дадут вам пожелать и исполняют почти ваши мысли... Не делайте знаков нетерпения: я знаю, что всё это общие места... А думаете ли вы иногда, откуда это всё берется и кем доставляется вам? Конечно, не думаете. Из деревни приходят от управляющего в контору деньги, а вам приносят на серебряном подносе, и вы, не считая, прячете в туалет...

— Тетушка десять раз сочтет и спрячет к себе, — сказала она, — а я, как институтка, выпрашиваю свою долю, и она выдает мне, вы знаете, с какими наставлениями.

— Да, но выдает. Вы выслушаете наставления и потом тратите деньги. А если б вы знали, что там, в тамбовских или орловских ваших полях, в зной, жнет беременная баба...

— Cousin! — с ужасом попробовала она остановить его, но это было нелегко, когда Райский входил в пафос.

— Да, а ребятишек бросила дома — они ползают с курами, поросятами, и если нет какой-нибудь дряхлой бабушки дома, то жизнь их каждую минуту висит на волоске: от злой собаки, от проезжей телеги, от дождевой лужи... А муж ее бьется тут же, в бороздах на пашне, или тянется с обозом в трескучий мороз, чтоб добыть хлеба, буквально хлеба — утолить голод с семьей, и, между прочим, внести в контору пять или десять рублей, которые потом приносят вам на подносе... Вы этого не знаете: «вам дела нет», — говорите

ВЫ...

На ее лицо легла тень непривычного беспокойства, недоумения.

— Чем же я тут виновата и что я могу сделать? — тихо сказала она, смиренно и без иронии.

— Я не проповедую коммунизма, кузина, будьте покойны. Я только отвечаю на ваш вопрос: «что делать», и хочу доказать, что никто не имеет права не знать жизни. Жизнь сама тронет, коснется, пробудит от этого блаженного уснения — и иногда очень грубо. Научить «что делать» — я тоже не могу, не умею. Другие научат. Мне хотелось бы разбудить вас: вы спите, а не живете. Что из этого выйдет, я не знаю — но не могу оставаться и равнодушным к вашему сну.

— А вы сами, cousin, что делаете с этими несчастными: ведь у вас есть тоже мужики и эти... бабы? — спросила она с любопытством.

— Мало делаю или почти ничего, к стыду моему или тех, кто меня воспитывал. Я давно вышел из опеки, а управляет всё тот же опекун — и я не знаю как. Есть у меня еще бабушка, в другом уголке, — там какой-то клочок земли есть: в их руках всё же лучше, нежели в моих. Но я, по крайней мере, не считаю себя вправе отговариваться неведением жизни — знаю кое-что, говорю об этом, вот хоть бы и теперь, иногда пишу, спорю — и всё же делаю. Но, кроме того, я выбрал себе дело: я люблю искусство и... немного занимаюсь... живописью, музыкой... пишу... — досказал он тихо, и смотрел на конец своего сапога.

— Это очень серьезно, что вы мне сказали! — произнесла она задумчиво. — Если вы не разбудили меня, то напугали. Я буду дурно спать. Ни тетушки, ни Paul, муж мой, никогда мне не говорили этого — и никто. Иван Петрович, управляющий, привозил бумаги, счета, я слышала, говорили иногда о хлебе, о неурожае. А... о бабах этих... и о ребятишках... никогда.

— Да, это mauvais genre!¹⁵ Ведь при вас даже неловко сказать «мужик» или «баба», да еще беременная... Ведь «хороший тон» не велит человеку быть самим собой... Надо стереть с себя всё свое и походить на всех!

— Когда-нибудь... мы проведем лето в деревне, cousin, — сказала она живее обыкновенного, — приезжайте туда, и... и мы не велим пускать ребятишек ползать с собаками — это прежде всего. Потом попросим Ивана Петровича не посылать... этих баб работать... Наконец, я не буду брать своих карманных денег...

— Ну, их положит в свой карман Иван Петрович. Оставим это, кузина. Мы дошли до политической и всякой экономии, до социализма и коммунизма — я в этом не силен. Довольно того, что я потревожил ваше спокойствие. Вы говорите, что дурно уснете, — вот

¹⁵ дурной тон (фр.).

это и нужно: завтра не будет, может быть, этого сияния на лице, но зато оно засияет другой, не ангельской, а человеческой красотой. А со временем вы постараетесь узнать, нет ли и за вами какого-нибудь дела, кроме визитов и праздного спокойствия, и будете уже с другими мыслями глядеть и туда, на улицу. Представьте только себя там, хоть изредка: например, если б вам пришлось идти пешком в зимний вечер, одной взбираться в пятый этаж, давать уроки? Если б вы не знали, будет ли у вас топленая комната и выработаете ли вы себе на башмаки и на салоп, — да еще не себе, а детям? И потом убиваться неотступною мыслью, что вы сделаете с ними, когда упадут силы?.. И жить под этой мыслью, как под тучей, десять, двадцать лет...

— *C'est assez, cousin!*¹⁶ — нетерпеливо сказала она. — Возьмите деньги и дайте туда...

Она указала на улицу.

— Сами учитесь давать, кузина; но прежде надо понять эти тревоги, поверить им, тогда выучитесь и давать деньги.

Оба замолчали.

— Так вот те *principes*... А что дальше? — спросила она.

— Дальше... любить... и быть любимой...

— И что ж потом?

— Потом... «плодиться, множиться и населять землю»: а вы не исполняете этого завета...

Она покраснела и как ни крепилась, но засмеялась, и он тоже, довольный тем, что она сама помогла ему так определительно высказаться о конечной цели любви.

— А если я любила? — отозвалась она.

— Вы? — спросил он, вглядываясь в ее бесстрастное лицо. — *Вы* любили и... страдали?

— Я была счастлива. Зачем непременно страдать?

— Вы оттого и не знаете жизни, не ведаете чужих скорбей: кому что нужно, зачем мужик обливается потом, баба жнет в нестерпимый зной — всё оттого, что вы не любили! А любить не страдая — нельзя. Нет! — сказал он, — если б лгал ваш язык, не солгали бы глаза, изменились

Конец ознакомительного фрагмента

¹⁶ — Довольно, кузен! (*фр.*)

